

«И сотвори и.м, Господи, вечную память...»

ПРЕДИСЛОВИЕ

С рождением человека рождается и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому — кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни (детство и молодость, зрелые годы, старость) старость — самый длинный период и самый нудный.

Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память (мемуары без отдельных ошибок — крайняя редкость) или освещается прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.

* * *

Главный недостаток многих мемуаров — самодовольство мемуариста. И избежать этого самодовольства очень трудно: оно читается между строк. Если же мемуарист очень стремится к «объективности» и начинает преувеличивать свои недостатки, то и это неприятно. Вспомним «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Тяжелое это чтение.

Поэтому — стоит ли писать воспоминания? Стоит, — чтобы не забылись события, атмосфера прежних лет, а главное,

чтобы остался след от людей, которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о которых врут документы.

Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие — развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление.

Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное — «мелочи», из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.

Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить? (...) Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить... Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/100 того?»

Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные в основном с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.

РОД ЛИХАЧЕВЫХ

Согласно архивным данным (РГИА. Фонд 1343. Оп. 39. Дело 2777) основатель петербургского рода Лихачевых — Лихачев Павел Петрович — из «детей купеческих Солигаличских» был принят в 1794 г. во вторую гильдию купцов Санкт-Петербурга. Приехал он в Петербург, конечно, раньше и был достаточно богат, ибо вскоре приобрел большой участок на Невском проспекте, где открыл мастерскую золотошвейного дела на два станка и магазин — прямо против Большого гостиного двора. В Коммерческом указателе города Санкт-Петербурга на 1831 г. указан номер дома 52, очевидно ошибочно. Дом № 52 был за Садовой улицей, а прямо против Гостиного Двора находился дом № 42. Правильно указан номер дома в «Списке фабрикантам и заводчикам Российской империи» (1832. Ч. II. СПб., 1833. С. 666–667). Там же приводится и список изделий: всех сортов форменные офицерские вещи серебряные и апплике, позументы, бахромы, парчи, канитель, газ, кисти и пр. Указано три прядильных станка. На известной панораме Невского проспекта В. С. Садовникова изображен магазин с вывеской «Лихачевъ» (такие вывески с указанием одной только фамилии были приняты для самых известных магазинов). В шести окнах по фасаду выставлены скрещенные сабли и различного рода золотошвейные и позументные изделия. По другим документам известно, что золотошвейные мастерские Лихачева находились тут же во дворе.

Сейчас номер дома 42 соответствует старому, принадлежавшему Лихачеву, но на этом месте выстроен новый дом архитектором Л. Бенуа.

Как явствует из «Петербургского некрополя» В. И. Сайтова (СПб., 1912–1913. Т. II. С. 676–677), приехавший из Солигалича Павел Петрович Лихачев родился 15 января 1764 г., похоронен на Волковом православном кладбище в 1841 г.

Семидесяти лет Павел Петрович и его семья получили звание потомственных почетных граждан Санкт-Петербурга. Звание потомственных почетных граждан было установлено манифестом 1832 г. императором Николаем I с целью укрепить сословие купцов и ремесленников. Хотя звание это и было «потомственным», право на него мои предки подтверждали в каждое новое царствование получением ордена Станислава и соответствующей грамотой. «Станислав» был единственным орденом, который могли получить недворяне. Такие грамоты на «Станислава» были выданы моим предкам Александром II и Александром III. В последней грамоте, выданной моему деду Михаилу Михайловичу, указаны все его дети, и в числе их мой отец Сергей. Но отцу уже не пришлось подтверждать своего права на почетное гражданство у Николая II, так как благодаря своему высшему образованию, чину и орденам (среди которых были «Владимир» и «Анна» — не помню, каких степеней) он вышел из купеческого сословия и принадлежал к «личному дворянству», т. е. отец стал дворянином, впрочем без права передавать свое дворянство детям.

Потомственное почетное гражданство мой прапрадед Павел Петрович получил не только тем, что был на виду в петербургском купечестве, но и постоянной благотворительной деятельностью. В частности, в 1829 г. Павел Петрович пожертвовал три тысячи пехотных офицерских сабель Второй армии, сражавшейся в Болгарии. Об этом пожертвовании я слышал еще в детстве, но в семье считалось, что сабли были пожертвованы в 1812 г. во время войны с Наполеоном.

Все Лихачевы были многодетны. Мой дед по отцу Михаил Михайлович имел собственный дом на Разъезжей улице (№ 24), рядом с подворьем Александро-Свирского монастыря, чем объясняется, что один из Лихачевых пожертвовал крупную сумму на построение часовни Александра Свирского в Петербурге.

Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и в моем детстве уже жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его — Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла, когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 г. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал Михалыч) вторично женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова — Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его священники из Владимирского собора, и делалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас — потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».

И. Волгин пишет:

Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того: часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:

«Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл. серебром, сегодня предоставленных мне за покров и подсвечники каким-то неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф. М. Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неиз-

вестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровожаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

*Церковный староста Владимирской церкви
Иван Степанов Семенов»¹.*

Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачев, не был в точном смысле купцом (звание «потомственного и почетного» давалось обычно купцам), а состоял в Петербургской ремесленной управе. Был он главой артели. Но в моем детстве артель деда была уже не златошвейной.

И действительно, дела золотошвейных мастерских Лихачевых пошли плохо уже при Александре III, упростившем и удешевившем форму русской армии. В архиве Зимнего дворца сохранилось прошение моего прадеда о пособии с положительными отзывами. Прошение это само по себе любопытно:

«Прошение потомственного почетного гражданина СПб. I гильдии купца Михаила Лихачева о выдаче ссуды 30 000 рублей для поддержания торговли парчами, галунами и золотошвейными товарами». Отзыв министра Императорского двора — «ввиду почти столетнего существования фирмы и той пользы, которую деятельность деда, отца и сына принесла золотошвейному парчовому делу в России, — Воронцов-Дашков находит справедливым оказать поддержку. Из представленных Лихачевым документов усматривается, что торговля парчами, галунами и золотошвейными изделиями производилась торговым домом Лихачева с 1794 г., представители дома неоднократно удостоивались высочайших наград и похвальных отзывов со стороны выставочных комиссий и заказчиков за доброкачественность и изящество представленных изделий. Отцу просителя, почетному гражданину Ивану Лихачеву, в 1859 г. разрешено именоваться с сыновьями фабрикантами золотошвейных и золототканых изделий Императорского двора и иметь над местом торговли и на изделиях государственный герб. Таким образом, заслуги фирмы довольно значительны, и продолжение деятельности ее было бы весьма желательно» (ЦГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 35. 1882 г. Л. 462).

¹ См. в бумагах А. Г. Достоевской папку, озаглавленную «Материалы, относящиеся к погребению» (ГБЛ. Ф. 33. Ш. 5.12. Л. 22).

Однако на документе стоит надпись: «Деньги даны не были».

Вот почему дед перешел на полотерное дело. В справочниках «Весь Петербург» за два последних перед революцией десятилетия дед значился уже с указанием специальности «полотерное дело». В детстве я помню, что к квартире деда примыкало общежитие полотеров с окнами на двор. Дед строго следил за поведением своих рабочих, тем более что артель отвечала за каждую пропавшую, разбитую или просто испорченную вещь, где натирались полы. Помню, что артель натирала полы в Адмиралтействе и других дворцовых помещениях. Набирались мастеравые из хороших, крепких крестьянских семей. Дед следил: умел ли рабочий есть за столом с крестьянской опрятностью и умел ли по-крестьянски резать хлеб. По этим признакам дед, говорят, безошибочно определял моральные качества своих людей.

Дед, как я уже сказал, был старостой Владимирского собора и летом отдыхал на даче в Графской (теперь Песочной) рядом с церковью, где часто выступал с проповедями знаменитый тогдашний проповедник священник Философ Орнатский.

Первая жена Михаила Михайловича Лихачева Прасковья Алексеевна умерла от чахотки, оставив ему четверых детей: Анатолия, Гавриила, Екатерину, Сергея. От Прасковьи Алексеевны остались фотография в группе ее родных и большой портрет в черной овальной раме, сделанный итальянским карандашом по фотографии. На портрете отец мой ребенком лет трех сидит в юбочке (как тогда полагалось одеваться маленьким мальчикам) на руках у матери. Долго сохранялся у нас кусочек ее шотландского платка. Шерсть в нем была так тепла, что кусок этот употреблялся в нашей семье только в лечебных целях. Пропал этот кусок после смерти моей матери, у которой он хранился. Сохранилась еще маленькая записочка с перечислением имен ее детей; может быть, для поминания в церкви? Это было все, что осталось от Прасковьи Алексеевны. Большинство людей умирает, оставив по себе не больше, но дети — главное!

Вторым браком Михаил Михайлович был женат на Александре Ивановне — дочери старосты Владимирского собора Семенова, обязанности которого дед после смерти Семенова принял на себя. О Семенове я уже писал выше.

В 1904 г. Михаил Михайлович Лихачев переехал из собственного дома на Разъезжей в большую квартиру в новом доме напротив Владимирской церкви, в которой состоял старостой. В этом доме мы всей семьей посещали его в Михайлов день, когда он приглашал к себе духовенство Владимирской церкви, служил молебен и угощал обедом, а также на Рождество и на Пасху.

Характер у деда был тяжелый. Не любил, чтобы женщины в семье сидели без дела. Сам он выходил только к обеду из своего огромного кабинета, где в последние годы лежал на диване, приставленном к письменному столу. В моей памяти запечатлелась картина: Михаил Михайлович лежит на диване одетый. Ночные туфли стоят рядом. Борода расчесана на две половины, как у Александра II (важным лицам в XIX в. полагалось носить бороду и усы как у государя). Со своего дивана он достает из ящика письменного стола золотые десятирублевки и дарит их нам, когда мы перед уходом заходим к нему в кабинет попрощаться. Над ним на потолке длинная трещина, и я всегда, заходя к нему, боялся, что потолок когда-нибудь свалится на него.

В последний раз (это было во время войны в 1916 или 1917 г.) он не подарил мне золотой, а я, привыкший к его подаркам, не уходил из его кабинета: думал, что вспомнит. В конце концов дедушка сказал мне: «Ну, что же стоишь...» — и назвал меня как-то ласково «внучек». Я говорю ему: «А монетка?» Дедушка застеснялся, заулыбался и протянул мне золотой пятирублевик вместо обычного десятирублевика: видно, дела дедушки еще более пошатнулись.

Я так много говорю о семье моего отца, что она до сих пор в какой-то мере остается для меня загадкой. Мой прапрадед Павел Петрович Лихачев «из детей купеческих Солигалича» был человеком грамотным, но не более. Почерк его на оставшихся документах очень похож на допетровскую скоропись.

Профессионально он был, вероятно, очень практически осведомлен. Не случайно, думается, в Петербурге он оказывается одним из самых богатых ремесленников.

Его потомок Михаил Михайлович Лихачев многое от него усвоил, но и продвинулся далее в своем общественном положении. Его грудь покрывали ордена, медали и значки различных благотворительных обществ. О тяжелом характере деда часто говорили в нашей семье, и я до самого последнего времени представлял себе семью деда неблагополучной, задавленной дедовским деспотизмом. По поводу всякого проявления семейного деспотизма моим отцом мать моя часто с осуждением называла его «Михал Михалыч». А между тем мы были окружены подарками деда: половая лампа с ониксовым, очень дорогим, столиком, зеленый ковер с подсолнухами для большой гостиной, каминный экран с подсолнухами, прекрасный бронзовый письменный прибор у отца, четверо золотых карманных часов для отца и его трех сыновей. И мало ли еще что. Не забывал дед и о такой мелочи, как предпочтение, отдававшееся моей матерью зеленому цвету, — все в его подарках, что могло иметь цвет, было зеленым. Все это было знаками внимания моего деда, внешне очень сурового, к нашей семье.

ДЕТИ М. М. ЛИХАЧЕВА

Женат Михал Михалыч, как я уже сказал, был дважды. Первая жена Прасковья Алексеевна, моя бабушка, умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), косившей в Петербурге тысячи людей, главным образом в молодом возрасте. Чахоточные умирали весной. Она умерла первого или второго марта. Отец всегда боялся этих чисел марта и действительно умер во время блокады первого марта (мы зарегистрировали его тогда как умершего второго марта). Мы с отцом всегда ездили потом на могилу бабушки на Новодевичьем кладбище — самом дорогом в тогдашнем Петербурге. Отец мальчиком посадил на ее могиле березку, и ко времени, когда я с ним

стал посещать могилу, береза стала старой и разрушала корнями раковину могилы.

Как реликвию хранили в семье написанную рукой Прасковьи Алексеевны уже упомянутую записочку с именами ее детей. Старший сын Прасковьи Алексеевны Анатолий умер рано. Дочь Екатерина вышла замуж за известного подрядчика Кудрявцева, строившего великокняжескую усыпальницу в Петропавловской крепости. У Екатерины Михайловны с мужем был особняк на Выборгской стороне, два сына — Михаил и Александр, которых мы с братом почему-то называли «дядя» Миша и «дядя» Шура, хотя они были нашими двоюродными братьями. Оба воспитывались с гувернантками, хорошо знали французский и немецкий и стали инженерами-электриками по совету нашего отца. Дом тети Кати был поставлен на барскую ногу. Когда муж тети Кати умер, она вышла замуж за помощника покойного мужа — Сегодняка. Сегодняк был значительно младше тети Кати и, как говорили, «женился на ее бриллиантах». Во всяком случае, он был жаден, неприятен и вскоре завел себе любовницу, которой в конечном счете и достались все бриллианты тети Кати. Но это случилось уже во время блокады Ленинграда. А тетя Катя, чтобы привлечь мужа, усердно следила за своими нарядами, делала подтяжки лица (во время одной из этих операций она упала в обморок и ее не скоро привели в чувство). Судьба ее сыновей была несчастливой. «Дядя» Шура был помощником проф. Гаккеля — «русского немца», специалиста по электроаккумуляторам, что было важно для подводных лодок. Во время блокады Шура что-то неосторожное сказал в столовой Дома ученых про своего учителя, в результате чего Шуру стали таскать на допросы. После одного из допросов он пришел домой, ушел на чердак и там повесился. После следователи приходили домой к его вдове и уговаривали ее не поднимать шум: военное ведомство было очень заинтересовано в работах «дяди» Шуры. А с «дядей» Мишей все было иначе. Став инженером-электриком, он переехал в Павловск, где ему очень нравилось, женился на дочери командующего Черноморским флотом Пандержанского, расстрелянного перед войной. В Павловске его

и жену захватили немцы, и он остался жив только благодаря тому, что говорил как немец на хорошем литературном немецком языке. Когда уже вдовой жена «дяди» Миши обратилась к главе Ленинградского исполкома Смирнову с просьбой предоставить ей квартиру, Смирнов, не шелохнувшись всей своей громадной тушей, отчеканил: «Обращайтесь с этой просьбой по месту расстрела вашего отца». И она осталась жить в Барановичах, куда их отправили еще немцы.

Перехожу еще к одному сыну Михал Михальча и Прасковьи Алексеевны: к дяде Гаврюше. Его я никогда не видел. Сохранилось только длинное наставительное письмо моего отца, обращенное к Гаврюше, где отец мой пишет ему, что он готов устроить его на работу, но требует обещания аккуратно выполнять свои обязанности и не бросать работы, как он бросал ее перед тем. А дело в том, что Гаврюша имел мятущуюся душу. Уходил несколько раз в монастырь. Присоединившись к паломникам, уезжал даже на Афон в поисках правды. Сидеть за письменным столом и выполнять обязанности канцеляриста он органически не мог. Он все время был в духовных поисках. Пропадал на годы. Перед Второй мировой войной мы получили известие, что он женился, живет в Ростове-на-Дону, жена продает в киоске газеты. Что делает он сам — неизвестно. На этом сведения о нем обрываются. Значит, и из него не получился ни коммерсант, ни ремесленник.

Второй женой Михал Михальча, как я уже написал, была дочь старосты Владимирского собора Александра Ивановна Семенова.

Мой отец с глубоким уважением относился к своей мачехе, но отроком ушел из дома, стал жить на собственные средства уроками и закончил реальное училище, чтобы стать инженером. Михал же Михальч хотел, чтобы он унаследовал его дело и закончил коммерческое училище, не дававшее права поступить в институт.

Александра Ивановна боялась Михал Михальча, как, впрочем, и все в доме. Михал Михальч следил, чтобы никто в семье не сидел без дела и не «точил лясы». Приоткроет дверь в столовую, посмотрит на всех женщин тяжелым взглядом

и иногда произнесет: «Ишь дармоедки». Поэтому в обычае было в доме на всякий случай держать женщинам рукоделие на коленях. Заслышат шарканье дедушкиных туфель и схватятся — кто вязать, кто штопать, кто чинить что-нибудь.

И все ж таки, несмотря на тяжелый семейный быт, Александра Ивановна была полна чувства собственного достоинства, держалась представительно, не унижалась перед мужем, хотя во всем его слушалась. Детей от первого брака любила, называла их ласкательно: Сереженька, Катюша. Ближе всего к ней была ее очень некрасивая дочь Вера. Это было удивительное существо, кротости необыкновенной, доброты чрезвычайной, веры глубочайшей. Я могу говорить о ней только в превосходной степени. Голос у нее был необыкновенно красив, и петербургское произношение, как и во всей семье дедушки, безупречное. Называла она меня Митюша, и одно это слово звучало для меня как музыка. Она целиком посвятила себя матери, ухаживала за ней самоотверженно и никогда не жаловалась на судьбу. Между тем Александра Ивановна от неподвижного образа жизни страдала ногами. Ей отняли ногу, а когда после смерти Михал Михалыча Александра Ивановна и Вера, чтобы сократить расходы, переехали из центра города на Удельную на второй этаж деревянного дома, — отняли и вторую. Вскоре Александра Ивановна умерла, и Вера стала помогать в Удельной всем, кто в этом нуждался, ничего за это не требуя. Многие жители Удельной ее знали и считали святой. Небольшие деньги давали ей дядя Вася из своей нищенской зарплаты — ее брат и мой отец — ее брат по отцу. Закончила она свою жизнь во время блокады. Еще до блокады она отдала свою большую комнату бедной многодетной еврейской семье, жившей в холодной комнатке с дверью, выходившей прямо на улицу. Разумеется, она ничего не взяла с них. Как ни топи, а ногам было в этом сарайчике холодно. Зимой она обычно сидела с ногами на высокой кровати. В начале блокады она умерла от голода одной из первых. Нам до нее было не добраться, и только весной 1942 г. мы узнали о ее смерти. Где она похоронена — бог весть.

Вторая моя тетя по отцу — Маня — была очень красива. Помню, как отец с матерью спорили: кто красивее — тетя Ма-

ня или сестра моей матери тетя Люба. Споры эти, конечно, были полусерьезные. Тетя Маня, однако, не вышла замуж: уж очень строго держал своих дочерей Михал Михалыч. За тетю Маню сватался будущий настоятель Шуваловской церкви. Тетя Маня сказала: «Ну какая я попадья» — и отказала. Чтобы получить хоть какую-то самостоятельность, она пошла учиться на зубного врача и некоторое время успешно практиковала где-то около Литейного моста в поликлинике, где у нее был зубокабинет. А затем она уехала под Новгород на Фарфоровый завод. С заводом этим во время войны она эвакуировалась, близко подружилась со служащими и рабочими — настолько, что к ней ходили советоваться по всем, даже семейным, делам. Единственно, что ее смущало по возвращении из эвакуации, — это далекость церкви. Была она прихожанкой Николодворищенского собора в Новгороде, пока священника этой церкви, ставшего очень популярным, не перевели в другой приход, а из самой церкви одиннадцатого века не сделали планетарий. Однажды я к ней заезжал в поселок Пролетарский. Жила она бедно, совсем близко от шоссе Москва — Ленинград, в комнате, которую она старалась сделать уютной, и меня во время моего единственного посещения ее с волнением спрашивала: «Правда, я уютно устроила свою комнату?» Выписывала она «Медицинскую газету», «чтобы не отстать», и кое-какие книги. Тут ее, уже жившую на пенсии, и посещали ее многочисленные поклонники, а она наставляла всех добру и учила верить Богу. «Ну, если уж доктор наш верит, то, верно, Бог есть...» — говорили рабочие. Похоронена она в 50-х годах на кладбище в «Пролетарском». Перед смертью она приехала в Ленинград и поднималась к нам в квартиру на Басковом переулке. Я ее фотографировал, но снимок получился плохо.

Была еще тетя Настя — тоже красивая и тоже не вышедшая замуж, как и тетя Маня. Она была с высшим образованием, окончила педагогический институт (не знаю точно какой). Получала золотые медали. Всю себя посвящала педагогическому делу. У нас дома она не бывала, а когда мы всей семьей приходили к бабушке по праздникам, уводила меня к себе в комнату и мы с ней лепили или играли в настольные игры.

Она рано умерла от чахотки. В развитии ее болезни, я думаю, сыграла свою роль какая-то внутренняя неудовлетворенность, гнетущая обстановка, создававшаяся в семье тяжелым «купецским» характером дедушки Михал Михалыча.

А теперь о любимом мною дяде Васе — сыне Александры Ивановны. На старых фотографиях, еще дореволюционных, он выглядит настоящим щеголем: вздернутые усики, элегантное расклешенное по моде того времени пальто. Есть его фотографии с тросточкой. Если добавить к этому, что он с женой и дочкой любил ходить в кино, увлекался цыганским пением и особенно Варей Паниной, собирал ее пластинки, то на этом можно было бы поставить точку: портрет вполне законченный. Но на самом деле вся эта «внешность» была только оболочкой и, вероятнее всего, шла от довольно ординарной и мещанистой жены. На самом же деле дядя Вася был очень религиозен. И это было в нем основным. Его почитаемым святым был Серафим Саровский. В Саров он ездил один. Сохранились его фотографии Саровской пустыни. Он собирал литературу о Серафиме Саровском. Имел не пропущенный духовной цензурой полный экземпляр книги Мотовилова о Серафиме Саровском. Увлечен он был и чудесным явлением иконы Державной Божьей Матери, найденной в селе Коломенском в самый день отречения Николая II.

Я помню его высокую фигуру у нас на Офицерской. Он стоит в передней, а я еще не умею говорить и обнимаю его ноги. Он мне кажется таким высоким! Выше его никого нет.

Потом он с женой и дочкой Наташей жили на Петроградской стороне. Работал он тогда в Государственном банке и принимал участие в стачке банковских служащих, протестовавших против разгона Учредительного собрания большевиками. Стачка, как мне кажется, длилась очень долго — несколько месяцев. Теща дяди Васи за бесценок продавала все самые нужные вещи на Сытном рынке, чтобы жить. Сам он был в отчаянии, но изменить общему делу и поступить куда-нибудь на работу, как делали многие из его товарищей, он не мог. Семья буквально голодала, и как раз в тот период, когда начался обший голод после установления советской власти в 1918 г.

Со мной, студентом, он постоянно говорил на большие мировоззренческие темы. Не довольствовался простыми ответами, иногда спорил. Он думал, задумывался, мечтал. Он не был как все. Во всем он был самим собой. Как-то он сказал мне по какому-то случаю: «Люблю большие пароходы и пушечные выстрелы с Петропавловки». В те времена пушка возвещала о наводнениях — сколько футов над ординаром, столько выстрелов — и палила также в «адмиральский час» — ровно в 12 часов. В народе говорили, что под пушку адмирал в Адмиралтействе пьет рюмку водки.

Умер мой дорогой правдоискатель во время блокады ужасно. Дома его совсем не кормили. Он пришел к нам в начале блокады попросить немного хлеба и принес дорогие куклы для детей. Куклы тогда можно было купить, а хлеб нельзя было купить совершенно. Пришел он к дяде Шуру и встал в прихожей на колени, умоляя дать немного хлеба. Скупой Шура не дал ничего.

Это был не единственный случай, когда во время блокады семья отказывалась кормить своего главу, упрекая его в том, что он вовремя не запасся, не поступил на работу и лишился карточек или пропуска в столовую.

В какой общей могиле закопали дядю Васю — не знаю. С дочкой его я как-то после блокады избегал встречаться. Я не скажу, что она была плохая. Напротив, один ее поступок в 30-е гг. вселил мне уважение к ней. Она увлекалась певцом Н. К. Печковским, часто бывала в театрах, дружила с актрисой Балабиной, переписка с которой составила большую пачку, которую я просил после ее смерти передать в Театральный музей. Не знаю — передали ли ее жильцы квартиры, распорядившиеся ее имуществом. Ее начали вербовать в секретные сотрудники. Вызывали на «разговоры». Угрожали, улещали и обещали — все по инструкциям. Но на один из вызовов она явилась с матерью. Отказалась подписать бумагу о неразглашении своего разговора. Следовательно, вызывавший ее, был в ярости. После того как она объявила ему, что одна, без матери, разговаривать с ним не будет, он наконец отстал и больше не вызывал. Это был смелый шаг, но верный.

Мой отец Сергей Михайлович, уйдя из дома, стал жить уроками, самостоятельно закончил реальное училище, поступил в только что открывшийся Электротехнический институт (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.

Моя мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то из предков в середине XIX в.). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольниковского моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас по старообрядческой традиции никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы, и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь — где теперь Музей Арктики и Антарктики.

Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все — мучился и стеснялся, затем неизменно отыгрывался. В квартире его постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все проигрыши прощала.

Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые

по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель артельщики отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариусовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы.

ДЕТСТВО

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им — зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Я чувствую свою ошибку; мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, — он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка — Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешли в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине

он «воспитывал» потом мою внучку, неизменно молчаливый и ласковый.

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций — сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу отраженным светом от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал — наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены — время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея на случай, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алушке. И такой недавней и близкой казалась эта война, точно она была вчера, — всего 50 лет назад!

Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в подготовительный класс.

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.

Человек, и зверь, и птичка —
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка;
За медком летит пчела.

Ясно поле, весел луг;
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.

СОДЕРЖАНИЕ

МЫСЛИ О ЖИЗНИ: ВОСПОМИНАНИЯ

Предисловие	7
Род Лихачевых	9
Дети М. М. Лихачева	15
Детство	23
Катеринушка закатилась	28
О Петербурге моего детства	31
Об интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти двадцатого века	44
Куоккала	53
«Семейные» слова	66
Крым	68
По Волге в 1914 году	70
Гимназия Человеколюбивого общества	74
Гимназия и реальное училище К. И. Мая	76
Уроки рисования в училище Мая	78
Умный «ручной труд»	79
Революция — внешние впечатления	80
Жизнь в Первой государственной типографии	82
Тайцы, Ольгино, Токсово	84
Школа Лентовской	87
Леонид Владимирович Георг	90
Университет	97
Красный террор	103
Выработка мировоззрения	108
С. А. Алексеев-Аскольдов	116
Хельфернак	118
«Братство святого Серафима Саровского»	120

СОДЕРЖАНИЕ

Космическая академия наук	125
Арест и тюрьма	129
Кемперпункт и переправа на остров Соловки	135
Лагерная топография Соловков	145
Природа Соловков	152
Кримкаб	156
Диагональ детского одеяла	164
Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 года	165
Соловецкий музей	178
Солтеатр	188
Люди Соловков	194
Несколько отрывочных воспоминаний.....	265
Отъезд с Соловков	268
Званка и Тихвин. Освобождение	272
Судьба друзей после Соловков	279
Репрессии 30-х годов	286
Издательство Академии наук СССР	291
Попытки писать	294
Снятие судимости.....	297
«Провал» на экзаменах	301
Уход из издательства Академии наук	304
Новгород	307
Блокада.....	314
Два письма о ленинградской блокаде	370
«Проработки»	375
Александр Сергеевич Орлов и Варвара Павловна Адрианова-Перетц	391
Николай Николаевич Воронин	411
Поездка на Соловки в 1966 году	413
Последний раз на Соловках	418
Послесловие	420

ПИСЬМА О ДОБРОМ

Письма к молодым читателям	423
Письмо первое. Большое в малом	425

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо второе. Молодость — вся жизнь	426
Письмо третье. Самое большое	427
Письмо четвертое. Самая большая ценность — жизнь	428
Письмо пятое. В чем смысл жизни	430
Письмо шестое. Цель и самооценка	431
Письмо седьмое. Что объединяет людей	433
Письмо восьмое. Быть веселым, но не быть смешным	435
Письмо девятое. Когда следует обижаться?	437
Письмо десятое. Честь истинная и ложная	438
Письмо одиннадцатое. Про карьеризм	439
Письмо двенадцатое. Человек должен быть интеллигентен	440
Письмо тринадцатое. О воспитанности	442
Письмо четырнадцатое. О дурных и хороших влияниях	445
Письмо пятнадцатое. Про зависть	446
Письмо шестнадцатое. О жадности	447
Письмо семнадцатое. Уметь спорить с достоинством	447
Письмо восемнадцатое. Искусство ошибаться	449
Письмо девятнадцатое. Как говорить?	450
Письмо двадцатое. Как выступать?	453
Письмо двадцать первое. Как писать?	453
Письмо двадцать второе. Любите читать!	461
Письмо двадцать третье. О личных библиотеках	464
Письмо двадцать четвертое. Будем счастливыми	465
Письмо двадцать пятое. По велению совести	466
Письмо двадцать шестое. Учитесь учиться!	467
Письмо двадцать седьмое. Четвертое измерение	469
Письмо двадцать восьмое. Быть вместе	470
Письмо двадцать девятое. Путешествуйте!	471
Письмо тридцатое. Нравственные вершины и отношение к ним	474
Письмо тридцать первое. Круг «нравственной оседлости»	475
Письмо тридцать второе. Понимать искусство	477
Письмо тридцать третье. О человеческом в искусстве	486
Письмо тридцать четвертое. О русской природе	489
Письмо тридцать пятое. О русской пейзажной живописи	495
Письмо тридцать шестое. Природа других стран	497

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо тридцать седьмое. Ансамбли памятников искусства.....	505
Письмо тридцать восьмое. Сады и парки	507
Письмо тридцать девятое. Природа России и Пушкин	512
Письмо сороковое. О памяти.....	517
Письмо сорок первое. Память культуры	521
Письмо сорок второе. Уметь заметить красоту наших городов и сел	526
Письмо сорок третье. Еще о памятниках прошлого	532
Письмо сорок четвертое. Об искусстве слова и филологии	535
Письмо сорок пятое. Космический эрмитаж	540
Письмо сорок шестое. О религии	541
Письмо сорок седьмое. Путиами доброты.....	542

СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ

Экология культуры	547
Непрофессионально об искусстве	559
О культуре	592
О науке и ненауке	618
«Мелочи» поведения	633
Про то и про се... ..	655
О природе для нас и о нас для природы	676
О жизни и смерти	682
Вокруг разговоров об интеллигентности	691